

Ганс Блуменберг
Смех фракийки. Предыстория теории.
Теоретик между комизмом и трагизмом

Перевод Карпенко Н. А.

Установленные Платоном отношения между милезийским падением в колодец и афинским концом Сократа не пережили субтильное искусство его диалогов. Цитаты, намеки, вариации редуцируют историю до ее сути. Разъяснения дают контекст, отречения, изменения. Далее следуют размышления об истории с внутренней и внешней стороны: из вне, где ее функция не становится более понятной или включает иные цели; и изнутри, где ситуация и действующие лица приводятся в возможное или в действительно точное соответствие. Басни, как и их трактовка Платоном, «не думают» ни в характерах, ни в мотивах; поэтому картина открыта для вмешательства таких изощрений (филировки), почти таких, какие совершил Лютер, давший басне о волке и ягненке неуместное для первоизданного жанра название «ненависть».

Была ли фракийская служанка действительно *emmelës kai chariessa*, в переводе Шлейермахера «славной и забавной»? Каждый неназванный из басни Эзопа, как Платон их нашел, обладает дружелюбными чертами, несмотря на свою неопределенность, он спешит на зов о помощи и жалобные стоны из колодца – чтобы помочь? – морализирует лишь после того, как он узнает об обстоятельствах несчастного случая от самого пострадавшего. Иначе он не мог бы знать, только лишь следуя услышанному, как из глубины возникла потребность в помощи. Косвенно дается понять, что астроном, упавший в колодец, в состоянии разговаривать. У Платона мы ничего не знаем далее о судьбе Талеса, и это является вполне значимым. Между служанкой и милезийцем не возникает контакта; на усмотрение читателя остается – отдаться ли негативным предположениям, что они свою насмешливую речь произносят про себя, не заботясь ни о чем вокруг. Текст не дает никакого намека на то, что это служанка самого Талеса; иначе она вряд ли была бы удивлена странностью происходящего.

На вопрос, почему Платон в своем анекдоте превратил неназванного в басне в фракийку, можно давать только разнообразные справки. <...> В случае с фракийкой речь идет не только о некотором роде понятной неразумности. Из Фракии происходят две названные фигуры эллинского мира: бог Дионисий по прозвищу Хтониус (подземный) и раб Эзоп, который сочинял басни. Важнее то, что в сознании греков фракийцы многое унаследовали от него, что Якоб Брукхардт приписал грекам как их пессимизм. В более жестком варианте это нашло ошеломительное доказательство для самого Шопенгауэра: *Это был фракийский народный обычай, встречать новорожденного человека с грустью и жалобами*. Оттуда произошел бог бакхов, и на фракийку как противницу теории, как невысказанный прототип противницы Сократа может проецироваться многое. Только немного глупости служанки – этого Платону было мало; злорадство могло стать обманом для его публики, у которой в конце

столетия открылись глаза на свои поспешные недоразумения – так как он хотел доказать Сократу обман аттийской республики на ее закате, при этом он представил государство, благополучие которого только Сократом могло приниматься. Не только для нас теория является делом греков и только через них пришедшим к нам; также Платон настаивал на ее эксклюзивности, наглядное пояснение Безымянного в баснях указывает на негативную черту неприязни против миролюбия первого теоретика. <...>

В процессе восприятия эти коннотации в массе теряют свое значение, как противоположность между эллинами и варварами, Олимпом и подземельем и проходят через эпоху эллинизма со ссылкой на смех Сократа. Серьезность, простирающаяся через сцены, еще не приводит жертву теории к жертве для теории, для дела, которое исчезает с монументальными понятиями человечества и истории. Приносить такую жертву не требовалось ни знати, ни черни – которые должны были ее многократно принимать.

При восприятии теряется понятие земной глубины: из колодца или цистерны (phrear) появляется своеобразное углубление ямы (bothros) у Диогена, ров (barathron) у Штобеуса. Юная симпатичная служанка становится старой каргой, ее охватывает забота, в частности о здравии (благополучии); бездна становится позорным столбом, и, прежде всего, теория небесных светил становится всего лишь средством астрологического любопытства в отношении будущего. И смена ролей как важное средство искусства. Среди всех философских школ эллинистического периода школа киников более других склоняется встать на место высмеиваемой служанки и теоретиков всех других деноминаций с этой позиции сделать презренными. В первой половине 3 века до нашей эры Бийон фон Бористенес *философию Ганса-в-фартуке-колбасника*, как ее позже скажет Ницше, превратил в высмеивание философов, которые хотели придерживаться серьезности своего дела, при этом отличались лишь искусством риторики от тех, кто обращался к сборникам изречений (Isosthenien) школ и сект, чтобы ни что иное как воздержание от теории поднять до воплощения теории. Философия переживала фазу своего скептицизма. Не только в школах Академиков и Пирроников, а также в атараксии Стоиков, в еще большей степени в салонной генеральной максиме Эпикура для души людей все теоретическое сводится к тому же самому, а именно: их ничто не касается. Нет ничего противоречащего в ситуации, когда смех в философии становится профессиональным. Центральным пунктом их начала стал вывод их (первого) конца. К картине Биона очень хорошо подходит, что он сам в начале был рабом и лишь после наследства его хозяина стал известным представителем цинизма, сменив школу. Не теоретическое любопытство заставило его пройти все школы, а стилизация своего пренебрежения по отношению к ним по жизненному опыту. Как основатель гедонистического течения киников он особо подчеркивает хладнокровие, с которым может приходить решение, запасаться дарами природы и случая и не возвращаться к истине – теория собирательного существования. То, что из уст этого философа звучит вариант высказывания фракийской служанки, не является больше

удивительным: *Бион сказал, самыми смешными выглядели астрономы, которые не видят больше у своих ног рыб на пляже, но утверждают, что распознают их на небе.* Изменение контрастирует с наблюдениями неба, представляет созвездия в виде рыб; кинийский образ жизни предписывает внимание к доступному и без труда достижимому содержанию в природе. Смысл в том, чтобы найти средства к пропитанию, подобные ему на небе. Формулировка высказывания известна со времен Эзопа. Еще один момент заслуживает внимания к Биону: попытка киников самостоятельно учредить насмешки фракийки в философии и вместо начала высмеять вывод теории - с правом очевидного провала-, не вызывает больше картину отчуждения между свободным и рабыней. <...>

Спустя полтысячелетия в биографии Диогена Лаэртиуса 3 века до н.э. анекдот актуальности дискуссии о мировоззрении философа возвращается. Талес упал в колодез не в то время, когда наблюдал за звездами, а когда только вышел из дома, чтобы пойти наблюдать за звездами. Пожилая женщина, которая его сопровождала и чьей никакой дальнейшей характеристики не следует, кричит призывающему на помощь: *Талес, ты не можешь видеть, что находится у тебя под ногами, серьезно полагаешь, что можешь распознать вещи, находящиеся на небе?* Сопровождающая, которая очевидно вышла вместе с ним из дома, не имеет свободного времени, чтобы смеяться; и это понятно. Но почему Талеса надо сопровождать в астрономических прогулках? Вопрос настолько очевиден и, насколько я могу судить, ни разу не задавался.

Объяснение дает эпиграмма, что Диоген по своему обычаю «вживается» в жизнь Талеса как в собственную. Он благодарит бога за смерть философа, так как благодаря этому он вернул в поле своего зрения вещи, которые он с земли больше не мог видеть. Сейчас становится понятно: эта конфигурация описывает менее главного возвышенного инициатора небесной теории, чем ослепленного. Подгоняемый своим теоретическим стремлением, он находит только сочувствие, едва ли насмешка женщины, чей возраст следует понимать не иначе как дряхлость самого философа, который еще не дошел до места воспоминаний о своих поступках – и не может отвлечься от них, чтобы заметить лежащее рядом.

Теперь у нас есть анекдот Диогена Лаэртиуса еще в одом понимании. Оно заключается в переписке Пифагора и Анаксимена, которая подчинена их коротким жизням. В этом свидетельстве почтения милезийской школы анекдот становится вопреки воле его создателя легендой о смерти Талеса. Старец следует своим жизненным привычкам и покидает дом ночью вместе со своей служанкой, чтобы понаблюдать за звездами. Поглощенный наблюдением неба, падает он со склона. Связь последних теоретических усилий со смертельным падением служит усилением завещания посредством смертельного освещения. Она обосновывает предостережение письма – каждое общее исследование начинать с Талеса. Город Милет попал под власть персидского короля Кирова; с незначительными, мягкими последствиями, и мягкими постольку, поскольку

последовали совету Талеса отклонить предложение о союзничестве с королем Кросйом. Предсказание астрономов оказалось пригодным для этой жизни.

Город потерял свободу. Это побудило Анаксимена в своем втором письме вспомнить свободу как условие небесной теории, как дело свободных. Всю жизнь наблюдавший звезды Талес становится для своей школы одновременно монументом утраченных условий для создания теории: *Как мог Анаксимен позволить себе исследовать тайны неба, когда он еще одержим страхом и видит перед собой лишь выбор между смертью и рабством?* Фракийская служанка исчезает со сцены; противопоставление ее несвободы теории свободных граждан Милета теряет свою ударную силу. В изменившихся условиях воспроизводится столкновение ее мировоззренческого понимания действительности с философским пониманием мира только лишь через судьбу города; падение которого делает невозможным продолжение и обоснование основанной Талесом теории. В 494 году в устье реки Мзандер город был разрушен персами; жители обращены в рабов. Недоступность теоретического отношения для фракийской зрительницы стала невыносимым образом преградой для дальнейшего существования теории для всех.

Ослепление и умирание, слепота глаз и окончание стремления к знаниям – это конец Фаустена, который проявляется в судьбе Талеса. И это не случайно. С теорией также связана возможность ее трагизма: она состоит в отказе физических органов при неизвестном до сих пор душевном напряжении, еще более решающим во всесилии мира над жизнью после пространства и времени. <...> Однако конфликт теорий не становится конфликтом между теорией и Эвдемонией. Она сохраняет преимущество и регулирует закат первой теоретической эпохи ознаменованной равнодушием: добродетель еще не есть знание, хотя незнания достаточно, чтобы действовать и жить. В космосе, пока он был таковым, каждая теория для человека сводилась к тому, что определяла его надежды также мало, как и его страх. <...> Это культура высокомерного равнодушия против положения вещей от Гераклита до атараксии стоиков, до эпохи скептицизма и до мудрого Эпикура, который имел свой прообраз в боге, и поэтому не мог быть представлен смеющимся, поэтому она (культура) не призывает к сохранению беспечности и своего счастья на свете. Не Талес из Милета, упавший в колодец и в конце своей античной мифологии через теорию пришедший к смерти, запечатлел образ мудреца, а смеющаяся служанка. Она более всего похожа на тот тип зрителя, который описал Эпикур, а Лукреций образно представил: он стоит на берегу и равнодушно наблюдает, кораблекрушение в бушующем море; он не смеется, но наслаждается своей непричастностью.

Согласно всем эпикурийцам - критикам культуры, этот зритель в кораблекрушении может видеть только последовательные выводы поступков и деятельности, несоразмерность которых предстает как сущность освобождений, с которыми может сталкиваться мир людей и презирает их. Не Глаукон ли сказал в «Государстве» Платона, что астрономия должна служить корабельному делу? В линии таких оправданий кораблекрушение для теории

еще более необходимо, чем контраргумент. Теория ведет человека к тому, что тс миром бесполезно разбираться, компрометировать себя, как это делал Талес. Кто падает, тот делает для себя жизнь сложной. Эпикуреец понимает исключительность того, что не касается человека, как редуцирование теории к наслаждению. Этот теоретик на высоком берегу не упадет в глубину, и он наслаждается тем, чтобы не упасть.